

### 3. ОБЩЕСТВЕННОСТЬ



#### В. ВАРВАРИН <В. В. РОЗАНОВ>

#### Автор «Балаганчика» о Петербургских религиозно-философских собраниях

##### I

На вопрос, «кто истинно счастливый человек», Карамзин отвечал довольно неопределенно: «патриот среднего возраста»; на вопрос «кому жить на Руси хорошо» Некрасов ответил, что «никому». Но если бы в минувшую зиму задать два этих вопроса, то ответ был бы ясен: «Истинно счастливый человек на Руси есть Александр Блок», а живется на Руси хорошо декадентам вообще и сотрудникам «Золотого Руна» в частности. Они печатаются на великолепной бумаге, они получают великолепные гонорары, и в заключение всего сих «бессмертных» некто г-н Кустодиев воспроизводит то карандашом, то пером, то в красках на страницах того же «Золотого Руна»<sup>1</sup>, в частности. Бессмертные мысли, увековеченность физиономии и полные карманы — это такие три благополучия, какими едва ли пользуются и «патриоты среднего возраста», и уж, конечно, ничем из этого не пользуются мужики, бабы и попы из длинного стихотворения Некрасова.

Но изо всех декадентов решительно больше всех процветал в прошлую зиму г. Александр Блок. Легенда рассказывает, что актеры и в особенности актрисы театра г-жи Комиссаржевской в Петербурге осыпали его цветами и, может быть, не одними цветами, во время постановки знаменитого «Балаганчика» и буквально чуть не задушили его не в одном фимиаме похвал, но и в чем-то более осязательном. «Балаганчик» ставился чуть не подряд сто раз, а по истечении первой сотни представлений он ставился с промежутками после двух дней в третий. О нем говорил весь Петербург. О нем кричала пресса. И хотя одни доказы-

вали, что это — «ерунда», но зато другие уверяли, что это — «гениально»<sup>2</sup>. Решительно, Александр Блок был самою интересною фигурою за весь зимний сезон 1906—1907 года, ну, конечно, не считая тех выигрышных лошадей, что вечно брали призы на бегах... Те были еще знаменитее, о них говорили и спорили больше, но «божественные» лошади — применяя эллинско-декадентскую терминологию, — уже выходят за пределы человеческого, открывают область зоологии, и Александр Блок не может особенно оскорбляться тем, что на арене мировой славы его побил копыто лошади...

«Балаганчик», видите ли, — задумчивая вещь. В ряде сцен, ничем не связанных и, по-видимому, бессмысленных, не столько показывается и доказывается (ибо этого ни показать, ни доказать нельзя), сколько излагается, что вся человеческая жизнь и все человеческие отношения, в сущности, представляют собою балаган, плутовство, что-то в высшей степени незначущее и в высшей степени ненужное. Нельзя сказать, чтобы мысль эта отличалась поразительной новостью, и здесь все зависит от того, «как сказано» и «кем сказано». Разумеется, если ее говорит Экклезиаст-Соломон<sup>3</sup>, построивший первый и единственный храм Богу, написавший ранее «Песнь песней» и «Премудрость», все испытывший, все выдавший, всего достигший, то тут есть чего послушать. Но если ту же тему повторяет русский коллежский регистратор, например, женившийся на приданом, недополучивший его и затем пришедший к мысли, что «брак — ерунда», или подвыпивший сельский дьячок, который скандирует:

Все ничто в сравненьи с вечностью  
И с соленым огурцом,

то это музыка не занимательная. Объявлять, что «мир есть балаган»<sup>4</sup>, можно или нося в душе идеал непереносимо высокий, так сказать, испепеляющий действительность. Но тогда ведь нужно этот идеал не только носить, но и чем-нибудь выразить в чем-нибудь обнаружить, чем-нибудь доказать, кроме задумчивой физиономии. Или можно объявлять мир «балаганом» приблизительно по тому мотиву, по которому, например, насекомым весь мир кажется насекомообразным, а травоядным весь мир представляется состоящим из овощей и их потребителей. Если бы спросить г. Блока, которому мы не отказываем в способности к простым и ясным суждениям, по которому из двух мотивов он назвал мир, любовь и труд «балаганом», то он, вероятно, очень бы сконфузился. Мы его вывели бы из затрудне-

ния, отметив, что он «мира», вероятно, совсем не знает, а написал пьесу как пьесу... ну, пьесу, которую играют в театре у Комиссаржевской и которая в 1906—1907 гг. имела успех почти скаковых лошадей.

Философ «Балаганчика», 28-летний Экклезиаст, поговаривая «суета сует», забрел и на религиозно-философские собрания в Петербурге... И уже не мудрено, что и там он увидел отдел «Балаганчика». Увидел не по зрелищу, представившемуся ему, и не по словам, которых он и не слушал, а по тому, что в душе его было вдохновение к «Балаганчику»; и, кажется, увидь он около себя отца, мать и даже свою аполлоновскую фигуру в зеркале, он повторил бы: «Э, балаганчик!» Как известно, всякий чижик поет песню чижика, и никакой другой песни ему спеть не дано...

В «Литературных итогах 1907 года», помещенных в январском номере «Золотого Руна», он передает свои впечатления, вынесенные из зала Географического общества, у Чернышева моста, где собираются «религиозно-философские собрания». Его поразила электрический свет там. «Отчего не зажгли лучины или, по крайней мере, сальных свечей?» Никому не приходило в голову, почему. «При лучине, — поясняет Блок, — говорили о Боге 500 лет на Руси; или не говорили, а молились, вздыхали, и еще точнее — *молчали* или *шептались вдвоем*». Но ведь «о Боге» говорили и под сирийским солнцем, и в Индии, среди бананов. Так не устроить же у Чернышева моста фруктовую лавку с развешанными бананами и не натопить печей до тропической жары в имитацию древности? Да и вообще, к чему все это, весь этот — простите — балаган? Вы сами пишете, и печатаясь на отличной бумаге, и окружаясь виньетками, и употребляя стальные перья фабрики «Sommerville et C<sup>o</sup>», тогда как Гораций писал «стилем», а Грибоедов — гусиным пером. Но что из этого и какое все это имеет отношение к религии или поэзии? Явно — никакого. И явно — Блок не имеет никакого понятия, кроме внешнего и театрального, о религии, а может быть, и о поэзии. Пораженный, что религиозно-философские собрания происходят не при зажженной лучине, он уже не хочет ни вглядываться в лица, ни вслушиваться в речи. «Ерунда, — решает молодой Экклезиаст, — лучше шабли, кокотки и кафешантан»...<sup>5</sup>

Все ничто в сравненьи с вечностью  
И с соленым огурцом...

Экклезиаст начинает «ab ovo»<sup>6</sup>, с собраний 1902—1903 гг., где будто «надменно ехидствовали и сладострастно (?)» полеми-

зировали с туполобыми попами» писатели и журналисты; а в этом году «они вновь возобновили свою болтовню» — и только *болтовню*, — зная, что этим нищим духом нужны дела». Я думаю, что таковые стоят «за дверями» не только зала Географического общества, но и редакции «Золотого Руна», на Новинском бульваре, с тою разницей не в пользу последней, что двери религиозно-философских собраний отворятся перед «нищими духом», если они захотят туда войти, а двери «Золотого Руна», т. е. самого Блока и друзей его, едва ли отворятся и даже наверное не отворятся. «Образованные и ехидные интеллигенты, посевшие в спорах о Христе и антихристе, дамы, супруги, дочери, свояченицы, в приличных кофточках, многодумные философы, попы, лоснящиеся от самодовольного жира, — вся эта невообразимая и безобразная каша, идиотское мельканье слов». Нужно заметить, что всякие слова представляются «идиотскими» тому, кто их не слушает, и всякая мысль тоже представляется «идиотскою» тому, кто ее не понимает. Так, известный Буренин давно пришил ярлык с надписью «идиотство» к стихам самого Блока<sup>7</sup>, которых он *не хочет* понимать, которые ему *противны* по самому тону, по стилю, *издали*. Буквально как Блоку «религиозно-философские собрания»... Зачем же Блок завистливо снимает листочек лавра с седой головы Буренина? До сих пор казалось, что они разных стилей... Зачем свояченицы и жены — «в кофточках»? Что же им быть без кофточек или в «неприличных» кофточках, как настаивает Блок, укоризненно указывая, что кофточки «приличны». И что это за высокомерие у Экклезиаста? Да отчего же женам и свояченицам и проч. и проч. не посещать религиозно-философских собраний и неужели же всем им писать стихи в «Золотое Руно»? Просто они находят для себя занимательнее слушать споры в собраниях, нежели рассматривать портреты, изготовляемые Кустодиевым. И, может быть, в этом лежит причина досады Блока? Во всяком случае, заметим, что в этом гадливом упоминании о «своаяченицах, женах, дочерях», и проч. сказалось очень мало раскрытия объятий для «нищих духом», на что, по-видимому, намекает у себя Александр Блок, ибо он за недостаток этого упрекает религиозно-философские собрания. «И вот один тоненький, маленький священник в бедной ряске выкликивает Иисуса — и всем неловко; один честный, с шишковатым лбом социал-демократ злобно бросает десятки вопросов, а лысина, елеем сияющая, отвечает только, что нельзя сразу ответить на столько вопросов. И все это становится модным, уже модным и доступным для приват-доцентских жен и для благотворитель-

ных дам»... Ах, какой язык у Блока! Точно бритва. Как он уязвил приват-доцентов: женам их хоть разводиться с мужьями. «А на улице ветер, — продолжает он патетично, — проститутки мерзнут, люди голодают, а в стране реакция, в России жить трудно, холодно, мерзко». Это, пожалуй, центр статьи его, и самый центр возражения. Но сперва позвольте снять маску или «балаганчик». Которую же из замерзающих на улице проституток согрел Александр Блок или хоть позвал к вечернему чаю, где он кушает печенье со своей супругой, одетой, как это видели все в собрании, отнюдь не в рубище? Что же он сделал? А собрания не кое-что, а очень много сделали и определенно делают по всем тем рубрикам, которые он перечисляет: 1) и для проституток, 2) для голодных, 3) и вообще по части «реакции» и ее подробностей, по части «жить мерзко» и конкретных приложений этого. Только Блок этого со своим «Балаганчиком» и «Экклезиастом» не заметил, *пренебрег* заметить... Да «реакция», если хотите знать, вся и основана и *утвердилась* на этом экклезиастическом равнодушии или попросту свинстве, которое буркает себе под нос: «Суета сует, ничего знать *не хочу*»... Войдем в маленькое рассуждение. Ведь процент проституток мерзнет сейчас на улице от того, что когда-то они, совершенно чистые девушки, были брошены мужчиною с первым своим ребенком. Не все, но некоторый процент с этого начали и бросились в проституцию от того, что *с ребенком девушке* ни пристанища, ни работы, ни помощи, ни внимания и заботы. Вот об этой теме на страницах «Золотого Руна» не было написано ни страниц, ни строк, а в религиозно-философских собраниях и в 1902—1903 гг., и в 1907 году толковалось вечера. Он скажет: «Ах, толковалось, *а не делалось*». Но ведь и Беккария ни одного казнимого не вытащил из рук палача, а *плодом написанного и сказанного* Беккариею явилось то, что смертная казнь вообще реже применяется в Европе<sup>8</sup>. Вот что значит быть Экклезиастом в 28 лет: бедняжка Блок, всего года три снявший ученическую курточку с плеч, не ведает, что есть *непосредственные действия* — и они всегда относятся к *лицу* и только к *одному часу*, в который совершаются, и есть *сказывания* и *писания*, правда, не в эстетических кружках и не в художественных журналах, которые действуют на *массы* и до известной степени *вечно*. Правда, Толстой учил, что надо «нагревать воду *по капельке*», но русские бабы, не внимая сей премудрости, предпочитают вдвигать сразу *котел воды* в печь... Блок соображает, что можно уничтожить *проституцию*, обнимаясь с *проституткою*, а в религиозно-философских собраниях воображают,

что можно спасти и эту, и ту проститутку, и Катю, и Машу, сказав, доказав *и вынудив священников согласиться с собою*, что в рождении ребенка нет греха, нет стыда, а есть Божий путь, Божья заповедь и что, следовательно, всякой таковой женщине ли, девушке ли, вдове ли должна быть дана помощь, совет, поддержка. Катерина Маслова, выведенная в «Воскресении» Толстого, имела бы в лучах «Золотого Руна» ту же судьбу, как и показанная Толстым, ибо «Золотое Руно» есть бесспорно кусочек, подробность той празднично-золотой столичной жизни, какую изобразил Толстой. А среди участников религиозно-философских собраний Катерина *такой судьбы, бесспорно, не получила бы...* Ни делом, ни по существу, ни по духу. Блок, если бы слушал что-нибудь в религиозно-философских собраниях, если бы приглядывался к чему-нибудь, мог бы заметить пробуждающееся в них сочувствие, напр<имер>, к *религиозному строю и быту еврейства*. Но почему? Да вот на примере Катерины Масловой лучше всего это можно объяснить. Как-то ко мне приходит швейцар и жалуется: племянница его, ничего не знающая и никакой работы не умеющая делать, осиротев, пришла в Петербург из деревни. Работы здесь не нашла или — точнее — за неумелостью переходила с работы на работу. Между тем ею кто-то воспользовался, из «православно-русских людей». Воспользовался — и оставил, как это и бывает у нас, на улице и «в быту». Девушка, неопытная, несчастная, служила в это время у евреев. Здесь я продолжаю словами швейцара. «И хоть она не умела готовить кушанья, и вообще в работе была этим евреям не нужна, но, видя, что она беременна и ей некуда пойти, они оставили ее у себя жить до разрешения от родов. Родился ребенок. Окрестили. И она пошла к псаломщику взять метрическую выпись. Она взяла бумажку, а он и говорит: “А рубль?” — “У меня нет рубля. Я — нищая”. — “Так подай бумагу назад”. Она не дала. Он хотел вырвать, но она все-таки не дала и убежала. Не напишете ли о таком безобразии в газетах?» — закончил швейцар. Это было года три тому назад; тогда я не написал, не было случая, а теперь к случаю и рассказываю. Ведь эта забота евреев не о ком-нибудь, не о чем-нибудь, а именно о беременной девушке находится в некоторой связи с приклоненностью их уха к старому: «плодитесь! множитесь! *наполните землю*». А бездушие псаломщика и совершенное его невнимание именно к молодой матери (нищим-то он, может быть, и подает) находится тоже в некоторой связи с отклоненностью нашего уха от той древней заповеди. А самое это отклонение совершилось, когда был провозглашен другой и обрат-

ный закон — девства (монашество). Для псаломщика, да и не для него одного, а для всех нас, для всей «православной улицы», она есть блудница, нарушившая завет девства; есть «тварь», «скверна», и мы ее оттолкнули, как оттолкнула и Катерину Маслову вся православная Русь. Но для еврея по закону, а не по частной доброте той семьи, где она жила, — она была исполнительницей воли Божией, хотя бы и ошибшейся и споткнувшейся в путях этого исполнения. Но в путях одного исполнения, и именно воли Божией! Большая разница с представлением, что она «впала в грех», «преступила заповедь», «закон» (девства). У нас в быту не кое-кто, а все не держат прислуг с ребенком или с животом, а тут первая попавшаяся еврейская семья, первая «для примера», оказалось, держит, не прогоняет. То и другое есть зерно и быта и воззрений, и, наконец, целой системы законодательства, сперва церковного, а затем от церкви перешедшего к государству. Само собою разумеется, что такой девушке в еврейском быту незачем было бы идти в проституцию, она была бы удержана самим бытом, согрета в нем и обласкана. Напротив, в нашем же «быту» ей невозможно не пойти в проституцию, ибо «в таком положении» работница и прислуга никому не нужна, позорно, гадко, всех пачкает: и куда же ей и деться, как не в дом терпимости, где ей «все — ровня». Эту довольно ясную истину разъяснили не в «Золотом Руне», а в религиозно-философских собраниях, разъясняли еще в 1902—1903 годах. И для таких девушек и детей и законодательно кое-что сделано именно после 1902 года. Им дано гражданское положение, о них, по крайней мере, *стал говорить закон* (чего он прежде не делал, ибо прилично ли «заниматься такой гадостью»); он дал право подобной матери передавать своему ребенку *свое имя и свое имущество*, тогда как прежде такому ребенку никакими усилиями никакая мать не могла ничего дать, ни щепочки имущества, ни какой-нибудь клеточки социального положения. И его, *безродного и безыменного*, оставалось только убить, что большинство матерей и делали, после чего их же судили и наказывали!! Это «сквозь строй» прогнание материнства и детства находится, конечно, в связи с новой заповедью: «не плодитесь», «не множитесь» (девство, монашество), далеким камешком от которого прокатился даже и блоковский смех над приличными кофточками «своячениц, дочерей, жен и сестер» — всей этой *родовой, родственной* «гадости», какую понавели в собрании интеллигенты, священники и приват-доценты. Но ведь чтобы все это привести в сознание и поставить в связь, надо «разговаривать»? Как же *иначе-то*??!



Нужно разговаривать, беседовать, спорить. Что все и делается у Чернышева моста, в зале Географического общества, в петербургских религиозно-философских собраниях, и почему это *бесполезнее и ненужнее* портретов Кустодиева и «литературных обзоров» самого Блока?

Мне кажется, что, прочитав все это, Блок должен покраснеть. Эту дань совести он воздаст если и не на страницах журнала, что не всегда удобно, то у себя в комнате и запершись на крючок. «И Бог, видящий втайне, воздаст ему явно», — может быть, воздаст прибылью таланта, рассудительности и оглядчивости.

## II

Религиозно-философские собрания в Петербурге я считаю одним из лучших явлений петербургской умственной жизни и даже вообще нашей русской умственной жизни за все начало этого века. Всякий должен признать, что ничего подобного не было и не начиналось, ничего даже не задумывалось в этом роде на всем протяжении XIX века, а если принять во внимание, что они начались при Плева и Победоносцеве и еще до японской войны, между тем дух их и в 1902—1903 годах был тот же самый, что и по возобновлении, в 1907 году<sup>9</sup>, то делается для всякого очевидным, что в них в 1902 году забил совершенно новый фонтан жизни и мысли, совершенно новый родник стремлений, идеалов, определенных требований. «Новый Путь», где печатались протоколы этих собраний\*, имел половиною своих подписчиков духовенство; его читали во всех семинариях и академиях, и, несомненно, многое, слишком многое, что сейчас начинается и есть в духовенстве, в сфере религиозной русской мысли, — имеет исходным своим пунктом мысли, высказанные в этих собраниях. Не все их слушали. Светское общество их «пропустило мимо ушей». Блок на них «не обратил внимания»... Но все это ничего. Их выслушало наиболее чутко то сословие, к которому они более всего были обращены, — духовенство. Да оно одно могло и *понять их во всей глубине* по родственности тем и *давнему знакомству* с предметом. И, собственно, оценить новизну и тяжеловесность сказанного на этих

---

\* Они изданы отдельною книгою в Петербурге книгоиздательством Пирожкова, С.-Петербург, Васильевский остров, 2-я лин., дом 12.



собраниях и можно только взглянув на *впечатление в этой среде*. Ведь не стихотворцам же судить о математике, не беллетристам — о геологии и географии, и не «Золотому Руну» и г. Блоку — о делах церкви...

Вернемся, чтобы иметь руководящую нить в рассуждениях, к репликам творца «Балаганчика».

Поговорив о «замерзающих проститутках», которым он не помог, Блок принимает благородную позу, которая идет к нему не более, чем к Кречинскому его сватовство<sup>10</sup>, и пишет высокомерно:

«Да хотя бы все эти нововременцы, новопутейцы, болтуны в лоск исхудали от собственных исканий — никому на свете, кроме “утонченных” натур, не нужных, — ничего в России не убавилось бы и не прибавилось! Что и говорить, хорошо доказал красивый анархист, что нужна вечная революция; хорошо подмигнул масляным глазком молодой поп “интересующимся” дамам, — по-“православному” подмигнул; хорошо резюмировал прения остроумный философ. Но ведь они *говорят о Боге* — о том, о чем можно только плакать одному, шептать вдвоем, а они занимаются этим при обилии электрического света. И это — потеря стыда, потеря реальности. Лучше бы никогда ничем не интересовались и никакими “религиозными сомнениями” не мучились, если не умеют молчать и так смертельно любят соборно сплетничать о Боге...»

Скажите, какой Экклезиаст! Так апостолы, воскресни они в наше время, первым делом потребовали бы загасить им электричество? Какой вкус у Блока! Мне кажется, апостолы просто не обратили б на это внимания и говорили бы при том свете, какой *дан*, был ли то свет Сирии или *будет* электрический свет! Это — вне темы их пришествия на землю и обращения к людям. Этим может только заняться ламповщик Блок, который зато не имеет никакого представления о религии, кроме употребления экклезиастовых поз.

«Первый опыт 1902—1903 гг. показал (кому? когда?), что болтовня была ни к селу ни к городу. Чего они достигли? Ничего! Не этим достигнута всесветная известность Мережковского — слава пришла к нему оттого, что он до последних лет не забывал, что он — художник. “Юлиана” и “Леонардо” мы будем перечитывать, а второй том “Толстого и Достоевского”, думаю, ни у кого не хватит духа перечитать. И не нововременством своим и не “религиозно-философской” деятельностью дорог нам Розанов, а тайной своей, однодумием своим, темными и страстными песнями о любви».

Словом, «нам нужны только стихи», или «мы берем в *Руно* только романы»... Ну, кому что нужно. Не для Блока же весь мир создан, и, может быть, Мережковский более, чем своими романами, где он только *описывал других*, дорожит своею деятельностью в религиозно-философских собраниях, где он был *сам деятелем*, где говорил от себя, и, может быть, откуда другой Мережковский XXI века возьмет его фигуру для «описания», как он сам брал Леонардо или Юлиана. Я, по крайней мере, выслушал раз не без удивления восклицание одного молоденького юриста (кандидата на судебные должности): «Я иногда ненавидел Мережковского, — так оскорбляло его отношение к людям, какое-то небрежно-незамечающее. Так относился он и ко мне. Но временами мне хотелось упасть к его ногам и целовать у него сапоги: мне казалось, я слушаю до того необыкновенные, обещающие слова, — точно прежней истории не существовало, точно начинается все новое, и его начинает Мережковский». Передаю слова, как слышал, и даже, для удостоверения читателей, называю имя: А. М. Коноплянцев, юрист Петербургского университета...<sup>11</sup> Сам я этих слов не понимаю и не разделяю. Но ведь Блок говорит о *нужном* и *ненужном* для других. И вот — свидетельство, тем более поразительное, что оно идет от человека, лично чем-то обиженного от Мережковского. Коноплянцев говорил не о книгах, а о впечатлении от устной речи; в дальнейших пояснениях он упоминал о «третьем царстве — Св. Духа, после царства Отца, раскрытом в Ветхом Завете, и после царства Сына — раскрытого в завете Новом»; упоминал о «церкви Иоанновой, имеющей притти на место церкви Петра». Все это — темы, развивавшиеся Мережковским на религиозно-философских собраниях 1902—1903 гг. Для настоящего писателя, оговариваюсь: для настоящего *человека*, два-три таких сочувствия и признания, как Коноплянцева, стоят, может быть, больше, чем «всесветная известность», которая ведь может так же скоро и погаснуть, как загорелась. А это не погаснет...

«С религиозных собраний, — пишет петербургский Экклезиаст, — уходишь не с чувством неудовлетворенности только: с чувством такой грызущей скуки, озлобления на всю ненужность происходящего; с чувством оскорбления за красоту, — ибо все это так ненужно, безобразно». Мне кажется, это впечатление получается вообще, когда зашел не в свое место и когда, зайдя не по адресу, думаешь, как поскорее выбраться. Ни *слушать* не хочется, ни содержания не *понимаешь!* Спасительная зевота спасает геоптмэ самолюбца: «Это так скучно!» Ну что

же, дружок, ступай, где тебе веселее. Блок и рассказывает в заключение, где ему веселее.

«Я этому предпочитаю, — заключает он, — кафешантан обыкновенный, где сквозь скуку прожигает порою усталую душу печать

Буйного веселья  
Страстного похмелья».

«Я думаю, что человек естественный, не промозглый, но поставленный в неестественные условия городской жизни, и непременно отправится в кафешантан прямо с религиозного собрания и в большой компании, чтобы жизнь, прерванная на 2—3 часа, безболезненно восстановилась, чтобы совершился переход ко сну и чтобы в утренних сумерках не вспомнилось ненароком какое-нибудь духовное лицо. Там будут фонари, котки, друзья и враги, одинаково подпускающие шпильки, сабли и ликер. А на религиозных собраниях сабли не дают».

Ну что же, милый друг, — где кому слаще. Только для чего же строить самую неприличную часть «Балаганчика»: накладывать на себя грим тоскующего, скучающего, желающего говорить о Боге «вдвоем» или «наедине», и непременно «при лучине». «Ведите, ведите интеллигентную жизнь, — гремит он, — просвещайтесь. Только не клюйте носом, не перемалывайте из года в год одну и ту же чепуху и, главное, — не думайте, что простой человек придет говорить с вами о “Боге”... Нужно заметить, что в религиозно-философских собраниях говорил, и очень хорошо, о «Боге» новгородский крестьянин Михайлов; говорил о церковной общине, о древнейшем христианском способе ведения хозяйства и проч. Крестьянин этот едва грамотный и от сохи. «Иначе, — продолжает Блок, — будет слишком смешно смотреть на вас и на ваши серьезные “искания”, и мы, подняв кубок лирики (не сабли ли?), выплеснем на ваши лысины пенистое и опасное вино. Вот и вытирайтесь тогда... не поможет: все равно захмелеете, да только поздно и неумело. Наше легкое вино только отяготит вас, только свалит с ног. И на здоровье».

Ах, шутник, шутник: да мы его «вина лирики», может быть, так же не будем читать, как он не стал слушать наших разговоров. Каждому свое. В пору «реакции», и «когда всем плохо», мы лучше засядем именно за религиозно-философские прения, усматривая, что здесь — *корень* всего, и *сущей* и *всех бывших реакций*... Между инквизицией и суздальской крепостью-монастырем разница только в оттенках, как и между порою Фотия,

г-жи Крюденер<sup>12</sup> и нашею порою — тоже разница только в степенях и густоте, а *колорит* тот же. Нет, религиозно-философские собрания начали (но только *начали*) делать *главное дело* на Руси: раскапывать, откуда течет *мертвая вода*, течет у нас, текла в Испании, была в XIX веке, показалась в XX. И где ни покажется — умирают цветы, затихает все живое, замолкают люди, все всех боятся, все на всех наушничают... Отвратительная атмосфера. В ней не успокоишься от сабли, не расцветешь с певичкою на коленях. Ведь не все так безвкусны, как Блок, — и, черт возьми, надо же сказать правду: не все так немудры. Религиозно-философские собрания делают дело большее: они поворачивают все религиозное сознание от мертвой воды к живой, определенно зная, что она *есть*, определенно зная, *где* она... До начала века этого и невозможно было основать эти беседования, на которые недаром идут *священник, журналист*, где принимают участие *православные и евреи* (г. Столпнер<sup>13</sup> — один из самых трогательных «искателей» на собраниях, в каждое заседание говорит длинную, волнующую речь), куда собираются в таком множестве женщины-труженицы (досадные Блоку «свояченицы, сестры и жены»). Нельзя было раньше этого начать, ибо, напр<имер>, ни Владимиру Соловьеву, ни кн. Сергею Трубецкому, *несмотря на их, может быть, и более крупные таланты, чем у Мережковского или у Розанова*, — однако, не было известно ничего о живой и мертвой воде, и они плыли еще в океане исключительно мертвой воды. Долго это объяснять — кто интересуется, пусть читает вообще все труды гг. Мережковского и Розанова, сравнивая их по содержанию и тону с трудами Владимира Соловьева, князей Сергея и Евгения Трубецких... По крайней мере, для Влад. Соловьева была ясна эта разница, и он бросился было со всею яростью забрасывать камнями колодезь, который начали *уже на его глазах* рыть совсем в другом месте и другие люди... Он знал, что не жить «мертвой воде» при «живой воде»... что умирает одно, когда рождается совсем другое... В религиозно-философских собраниях готовится умирание не одной, а целому ряду «реакций», всяким реакциям, всем, всегда... Это не все понимают, ибо многие глухи, как Блок. Ну, и что в том, что это делается при электрическом освещении, и что, например, сюда не приходит тот бывший дворовый человек, смешное письмо которого «народник» Блок приводит в своем письме<sup>14</sup>. Этот бородач, подпоенный саблями или «пенистой лирикой», но скорее всего, кажется, «пенистыми» похвалами и лестью Блока, который в чем-то перед ним «каялся», совсем развалился перед барином и поучает

его, что будто бы вся религиозность русского народа идет... от зависти! «Наш брат вовсе не дичится *вас*, а попросту завидует и ненавидит, а если и терпит вблизи себя, то только до тех пор, покуда видит от *вас* какой-нибудь прибыток... Все древние и новые примеры крестьянского бегства в скиты, в леса-пустыни» и проч., и проч. имеют будто бы мотивом это ненавидение образованных классов мужиками и зависть к их сладкому житью-бытью. Это особенно интересно после того, когда из интеллигенции так многие умирали для и за мужиков — ну, хотя бы во время холеры и холерных «движений»... но мы убеждены, что мужики давно это рассмотрели и видят, да они давно и показали и *доказали*, что видят. Блок выбрал в корреспонденты неудачного «мужичка»... Перед ним он, как рассказывает, имел вид (в письмах) «кающегося дворянина», и тот ему написал «такое» в ответ, что-де «завидуем и ненавидим, а другого чувства не чувствуем». Печальное «объяснение в любви». Нам кажется, и Блок — не настоящий русский умный человек, образованный в работе и рабочий в образовании, и «мужичок» его взят откуда-нибудь из ресторана, где он имел достаточно поводов завидовать кутящим «господам». И когда они кутили, эти господа, перед тем как поехать в религиозно-философские собрания или уже вернувшись с них, — право, не интересно. И, в конце концов, все это штрихи «Балаганчика», и уж не на сцене, где упражняется Экклезиаст-Блок, а в самой действительности, и мне, в качестве «публики», хочется посмеяться над автором пьески, который, незаметно для себя, попал в положение самого бездарного и скучного из своих персонажей...

